



П. Н. САВИЦКИЙ

Два мира

<I>

Евразийство заключает в себе зерно стремления к истине общефилософской. Но применительно к евразийству законен и понятен также иной вопрос: вопрос об отношении выработанного круга мыслей к бурно текущему, кипящему потоку современности. В данном повороте евразийство сводится к стремлению осознать и осмыслить совершающийся и совершившийся *выход России из рамок современной европейской культуры*. В эту краткую формулу укладывается содержание значительной части развертывающегося исторического процесса... В то же время евразийство есть попытка истолковать этот выход с точки зрения исторической философии, которую оно приемлет. Для философии этой зарождение, развитие, умирание культур суть внятные непреложные факты; в восприятии этом судьбы индивидуальной культуры столь же ощутительны и живы, как и судьбы индивидуальной личности, хотя бы, — как общество над личностью, — существовала над отдельными культурами некоторая объединяющая черта... Восприятие это не утверждает *всестороннего* сходства между судьбами культуры и судьбами личности; не означает приятия «натуралистического» или «органического» взгляда на общество. Смысл этого восприятия, — что оно утверждает *действительное быванье* общественно-культурных «зарождений», «расцветов», «упадков».

Чтобы понять, в каком смысле на этих страницах говорится «о выходе России из рамок современной европейской культуры», нужно обратиться к русскому прошлому, хотя бы недавнему. В русском XIX веке явственно различимы два обособленных преюбия. Одно обнимает занимающуюся в 30–40 годах зарю русского религиозного творчества. Рождаясь из недр некоего древнего духа, с трудом преодолевая покровы окружающей среды, религиозное озарение вспыхивает в позднем Гоголе, славянофилах. Окружающее не властно заглушить

лучи. Брезжащий свет разгорается в творчестве Достоевского, Владимира Соловьева и тех, кто был и есть с ними. Как наследие XIX века, Россия обретает достояние нравственно-совестной и богословской мысли, достояние, поистине составляющее в выборе и сопоставлении — *канон книг русских учительных...* В области живописи русский XIX век дает два явления, которые были бы непонятны, взятые в них самих: настолько они не связаны с окружающей их средой! Эти явления: Александр Иванов как автор эскизов на библейские темы, и Михаил Врубель как мастер фресок Киевского Кирилловского монастыря. В этих двух художниках заложен существеннейший смысл судеб русской — одной ли русской? — живописи XIX века. Сколь ни были в ином ошибочны и превратны увлечения обоих, — только в сопоставлении с религиозно-нравственным и богословским «деянием» Гоголя, Хомякова, Леонтьева находит место, раскрывает значение завещанное ими творенье. В развитии «европейской» культуры, в пределах XIX века, та совокупность писаний, которую мы именуем «канон книг русских учительных», так же как явление Иванова-Врубеля, по стилю и сущности не имеет подобий. Зато имеет подобие иное преемство, сказывающееся в судьбах русской культуры: преемство, начатое просветителями-обличителями XVIII и первой половины XIX века, идущее, через Добролюбова, Писарева, Михайловского, к просветителям-правителям большевистской эпохи; преемство позитивного мировоззрения, идолопоклонства «науке», преемство не скепсиса только, а «нигилизма» в отношении к «внеаучным» началам человеческого бытия; преемство не улыбки авгуров, но громкого смеха кощунственных.

Скажут, быть может: «два различных направления общественной мысли»; сказав, ошибутся: не два направления, но два разных исторических образования, два отдельных исторических мира! К первопроповедникам христианства, к истокам, начальным моментам великого исторического цикла уводят проникающие Хомякова и Достоевского, Леонтьева и Соловьева пафос и озарение. К поздним временам неверия (эпикурейского или коммунистического — безразлично), в периоды «просвещения» — достояние убывающих культур — ведут мировоззрения нигилистически-«научные». Противоречивое, причудливое сочетание: сочетание начала и конца, раннего и позднего, открывающего и завершающего. Весь он таков — русский XIX век: красочный и двойственный, внешне спокойный, внутренне напряженный, отображающий борьбу спорящих друг с другом о господстве подземных, вулканических сил*.

* Эта двойственность, этот спор не тускнеет, не ослабевает и теперь — в начале второго десятилетия XX века. Вдумайтесь в сочетание проповеди

II

В судьбах русского XIX века неверие и истина «просвещения» наваяны, преподаны со стороны. Следуя примеру «старших», сладостно стало «не верить»; «старшие» нашептали, что Бога не надобно, а надобна препарированная лягушка и критика просвещенного ума. С обстоятельствами подобной зависимости плохо, казалось бы, согласуется непреложное, на наш взгляд, признание, что уже в древней, допетровской Руси существовала своеобразная ценная культура. Но нужно помнить, что явление русского просветительства-обличительства создано в обстановке устранения, забвения преемства, взгляда на «Европу» как безраздельную законодательницу и «госпожу». Именно в рамках этого отношения, в обстановке добровольно принятого на себя «младенчества» духа привитие в русскую духовную жизнь начал позитивизма-нигилизма-материализма выступает как подлинное совращение «малых сих», растление старчеством юности, успех старцев, соблазнявших Сусанну. В этом — субъективная сторона вопроса. Объективная его сущность — в вовлечении России на пути европейского развития, в поставлении России в тот же исторический план, в котором двигалась Европа, в преподании ей в качестве исторической и жизненной правды положений, вытекших из предшествующего развития Европы (Возрождение! расцвет науки! рационалистический деизм!), но не обусловленных развитием России. Каково же в этой перспективе место произошедшей русской революции? В качестве попытки сознательного осуществления коммунизма, этого отпрыска «европейских развитий», русская революция есть вершина, кульминационный пункт описанного «вовлечения» и «преподания». В то же время в судьбах русской революции обнаруживается величайшая *contradiction historique*¹: построенная в умысле как завершение «европеизации»

безверия, определенный и ясный, чем когда-либо, ведомой большевистскими верхами и теми, кто к ним примкнул, — с явлениями религиозного подъема, охватившего не только интеллигенцию... Сожительство форм ранних и поздних, открывающих и завершающих, с большой ясностью сказывается, например, в области поэзии: с одной стороны, элементы подлинного религиозного мироощущения (Ахматова! Некоторые стихотворения Гумилева в сборнике «Огненный Столп» 1921! Вячеслав Иванов в «Переписке из двух углов»!); с другой — расцвет «разработки поэтики», в смысле словесной техники стихосложения, «разработки», в значительной мере пренебрегающей смысловым началом поэзии и относящейся в исторической аналогии к формам действительного «александрийства...» (ср. стиховые ухищрения латинской и греческой поэзии IV–V веков по Р. X.).

революция, как осуществление фактическое, означает *выпадение России из рамок европейского бытия*. Как умысел, русская революция есть осуществление прилагаемого к России европейского «просветительства-обличительства». Как факт, она — не только крушение коммунизма, но устранение, уничтожение базы также других, помимо коммунизма, «просветительско-обличительских» направлений. Революция выражается и связывается с чрезвычайно существенным, многосторонним изменением объективной обстановки. Изменение это охватывает равномерно идеологическое, хозяйственное и политическое бытие.

1. Примыкание русского интеллигентского сознания к западноевропейской культуре основывалось, между прочим, на созданном русскими подражательными усилиями тождестве или сходстве «быта». Если в отношении жизненного уклада Москва и Петербург отличались чем-либо от Парижа и Лондона, то главным образом тем, чем провинция, хотя бы «преуспевающая», может отличаться от столицы. Ныне «быт» рухнул; русские интеллигенты воистину поставлены вне «быта»; они ведут «загробное существование» — безразлично, скитаясь по свету или оставаясь в России. И образы мира, невидимые взору, прикрытому пленкою «быта», выступают, вещая «о тайнах вечности и гроба», пред духовными их очами. Находятся ли они среди «европейцев», находятся ли вдали от «Европы», может ли их психология оставаться привычною европейской? В обстановке заграничного «рассеяния», местами и временами, среди окружающих населений, русские изгнанники — как выходцы «с того света», как жители иных планет; местами и временами, среди серой тоски обычного, страдальчески зажженные, они — как факелы, пылающие во тьме...

2. В частности, в смысле экономическом, Россия ввержена в некие стихийные, неожиданные процессы. Коммунистическая революция мыслилась как завершение капитализма; как высшее напряжение промышленно-городского существования, как перемена «правовой надстройки» над базой сложившегося капитализма. В русской же практике коммунистическая революция оказалась разрушением не очень развитого, но сложившегося в «европейском» облики русского капитализма, оказалась возвращением к состояниям, гораздо более первоначальным. Что это значит? Сложившийся капитализм и тем более социализм, если он начнет «осуществляться», суть формы «поздние», имеющие немало шансов явиться зенитом, быть может, началом упадка, «александрийством» европейского мира. Но именуя себя «социалистической», Россия в судьбах революции определеннее,

чем «буржуазные» страны, отклонилась, ушла от социализма. В гораздо большей степени, чем пятилетие перед тем, Россия стала деревенской. В порядке же процессов «капиталистических» оказалась в стадии «первоначального накопления». Насколько мы можем представить себе социальные формы современного русского уклада, мы видим в нем, в перспективе исторических сближений, черты раннего капиталистического строя (чего-то вроде капиталистического Sturm und Drang Periode² английского XVIII века), строя, только что складывающегося, с беззастенчивыми «рыцарями наживы» в качестве «героев времени», с неограниченно долгою продолжительностью рабочего дня, низкими заработками рабочих. И эти черты сочетаются с чертами чуть ли не «раннего средневековья». Иной не подыщешь аналогии произошедшему в России превращению многого, что было «городским», в «деревенское», «опрощению» жизни, возросшему значения общины. Во всяком случае, до «александрийства» очень и очень далеко. Если в смысле экономическом Россию дореволюционную можно сопоставлять с «Европой», ныне она оказывается в иной исторической плоскости. Возможно, что изменения эти, делая русский хозяйственный строй более «первобытным» и тем самым менее устойчивым в отношении чужестранных воздействий, скажутся, надолго, на коротко ли, неблагоприятным образом на экономической самостоятельности страны. Но возможно также, что смена «поздних» экономических форм строем более «раннего» склада выступит в определенный момент потенцией положительной: можно думать, что смена эта — не только знак разрушения, но выявление дремавших энергий и в качестве такового — предварение всплеска русской предприимчивости и силы. Русская предприимчивость, русское хозяйственное напряжение живо ощущались в недрах русской национальной стихии; но ощущались как возможность, не вполне и недостаточно осуществлялись как факт. Потрясения и разрушения, видоизменяя общество, содействуя выделению новых слоев, — не явятся ли фактором осуществления, воплощения возможностей? Но не тех возможностей, что открыты перед «Европой» XX века, но возможностей *иного* исторического строя, *иной* исторической среды.

3. В области политической русская революция есть увядание, устранение действительности неуспешней получить развития русской либералистической идеи. В том виде, какой она являет сейчас, русская революция есть утверждение «деспотизма». «Деспотизм» может сочетаться с любыми *техническими* формами управления, в том числе с формами «представительства»; отли-

чительно, что при «деспотизме» источником власти выступает милость Нездешняя, а не «милость народная». Царская власть и советская в этом смысле подобны друг другу, хотя бы последняя и опиралась на «милость сатаны». Большевизм означает собою кризис парламентаризма; благодаря волевой упругости большевизма, затруднено, почти невозможно противоборствование ему на путях идеологии «парламентарной». И весьма вероятно, что «деспотизм» большевистский может смениться только «деспотизмом» иным.

Устоявшемуся европейскому быту противостоит разрушение, формирование быта. «Позднему» капитализму противостоит эпоха «первоначального накопления». Парламентскому строю противостоит «деспотизм». Таковы реальные формы, в которых совершается выход России из рамок европейской культуры, ее выпадение из них. Когда-то при виде расстояния, отделяющего Россию от Европы, говорили об «отсталости». Теперь, в основном и важнейшем, не об «отсталости» идет речь, но о возникновении разрыва между плоскостями, в которых движется Россия и Европа, об отделении, противопоставлении русской судьбы судьбам Европы. Из коммунистической «европеизации» вырастает стихийная «варваризация» России. И чем глубже новоявленное «варварство», тем неуклоннее, яснее раскрывается подлинный «стиль», подлинное знамение эпохи: знамение обособления и выделения вновь являющейся культуры на фоне ослабления, оскудения все еще властвующих культур. Пусть эта ныне выделяющаяся культура именно теперь попадет под внешнее господство других: обстоятельство это, заостряя противоречия, способно ускорить события. Пусть суждены испытания и тяготы тому, на чью долю выпадает ныне наследовать мир; испытания и тяготы не ослабить, но усилить призваны пророческий смысл происходящего.

III

В судьбах русской революции вскрываются и действуют стремления и умыслы, связанные с преемством «просветительства-обличительства», которое в то же время есть преемство «европеизации». В глубинах душевных звучат и свидетельствуют заветы иного и *русского* преемства. И это преемство — Церкви и Веры. В его лучах ощущается по-новому история и жизнь.

История не «дается», но «творится». Чем шире просторы, открывающиеся ныне перед Россией, тем больше ответственность, лежащая на каждом, соучаствующем в русской культуре.

Сами по себе изменения объективной обстановки еще не решают вопроса. Наследовать мир надлежит не жребием неустранимой судьбы, но собранным ясным деланием, достоинством души перед Господом; не о наследстве меча и богатства свидетельствуют откровения и слова, но о наследстве вдохновений и водительства, доле пророчицы, ясновидца, зовущих, ведущих мир.

Сколь ни бездушны и сколь ни поверхностны построения Шпенглера, в «синхронистических» таблицах его «*Untergang des Abendlandes*»³ заключается доля дознанной правды. Есть нечто убеждающее в сопоставлении в качестве исходных моментов исторических циклов религиозного творчества греческой «эпохи веры» гомеровских поэм, духовного напряжения первохристианства, богословского творчества романо-германского средневековья; с другой стороны, есть нечто подлинное в сближении поздней материалистически-этической философии стоицизма с фатализмом позднего ислама и с современным «этическим социализмом». Вопрос ставится определенно и резко: в ком желаем найти предвозвестника пути, в стоических ли философах — или богословах первохристианства, в язычестве ли, разлагаемом материализмом и неверием, или религиозном порыве создаваемой Церкви? Преемство русского просветительства-обличительства тяготеет к первому, в творениях наших «светских богословов» веет дыхание второй. Наша воля и наше сознание поставлены пред лицом испытаний. И этим испытанием, — не судьбой экономической, политической, — определится доля России. В результате сплетения побуждений, возможностей, сил выпадет исторический выбор... Каков он будет — на то воля Божья. В пределах судьбы человеческой есть показания и признаки, что не безверье, но Церковь возобладает в судьбах народных. Заложенное в большевизме торжество неверия и материализма протекает не *благодаря*, но *вопреки* духу лучших сынов народа. Наиболее творческие его сыны принадлежали не к преемству материализма и неверия, но к преемству православного учительства. Не деятельностью «просветителей-обличителей», но в значительной мере литературными вдохновениями «светских богословов» вроде Гоголя и Достоевского создана мировая слава русской литературы. И не кустарные мудрствования народников и не произведения начетчиков от марксизма, но воззрения славянофилов и Соловьева являются наиболее живыми и напряженными, наименее поддающимся «тлению» достижениями русской историософской и философской мысли. Но Гоголь и Достоевский, Соловьев и славянофилы возникли не в пустоте; в истоках творчества они рождены и питаются глубинами народной стихии. Может ли русский народ оставить

без воплощения начала и чаяния, в которых выразилось *высшее* напряжение народного духа? Грехи и ошибки неизбежны и многи. В жизни народа, одаренного размахом духовных исканий, они, быть может, по-особому неизбежны и особенно многочисленны. В настоящее время, в грехе и блужданиях, русский народ подошел к пределу последнему, но в этом, верим, залог возрождения. Ибо поистине должна ужаснуться душа. И на путях преодоления и просветления вслед за высшим торжеством неверия возникнет высшее возобладание Веры; вслед за триумфами «обличительства» идет *торжество Православия*.

IV

Имеет важность установить, к чему должен стремиться, чего должен хотеть поборник России как «*мира нового*».

Не в отрыве от *зднешнего* обретается достояние; но в сочетании напряженного *зднешнего* деланья с утверждением мира духовного, в котором деланье это, получая отведенное обширное, важнейшее место, — преклоняется, подчиняется целям Вышнего Царства. Только деланьем, экономическим и административным, можно среди испытаний, ниспосланных Господом на Россию, воссоздать и укрепить нарушенный лад жизни, общественной и частной, вспомнить и осуществить слова «о лете Господнем благоприятном». В выборе технических средств, в достижении подобных целей было бы неправильно и вредно сторониться достижений и средств, выработанных опытом Запада. Разрыв исторических плоскостей сказывается не в области техники; он сказывается в области *отношения* к технике, в области *оценки* значения деланья экономического и политического. Для мировоззрения, не приемлющего теорий исторического материализма, очевидна возможность существования, при тождественном техническом строе, разных общественных укладов и разных идеологий. Проблема исторических эпох есть проблема идеологическая. И *principium individuationis*⁴ новейшего западноевропейского мира заключается, в наших глазах, не в том развитии, которое получили в нем техника, хозяйство и управление, но в идеологическом значении, приписанном экономике и политике. Это значение сводится к следующему.

1. В области суждений о сущем устанавливается и утверждается, что все существующее в мире человеческом, в том числе и духовные ценности, суть надстройка над базой, экономической или политической. Первый вариант воззрения явственно сказывается в философии экономического материализма; второй, хотя и менее ясно выраженный, заключен в психологии «воинствующего политцизма».

2. В области суждений о должном выставляется положение, что проблема человеческого «счастья» затрагивается и разрешается исключительно в пределах *устройства* экономического и политического.

Этим суждениям поборник России как «мира нового» имеет противопоставить взгляды «подчиненной экономики» и «подчиненного права».

1. Основная посылка философии «подчиненной экономики» и «подчиненного права» гласит, что причины, касающиеся хозяйства и государственно-правового устройства, имеют ограниченную область приложения. Важнее всего, что из этой области изъемяются «вышние», «конечные» ценности. Экономический материализм являлся попыткой утвердить эти ценности в области и понятиях хозяйственной жизни; Марксова трудовая теория ценности сводилась к «обоожествлению» физического труда. Воззрение воинствующего политицизма обрело те же ценности в «правовом государстве», «демократическом» строе. Сколько бы ни называли себя создатели этих учений деятелями, поборниками «науки», они являлись метафизиками, и притом метафизиками метафизики «злой», ибо то, что от «нижних», они допускали в мир «вышний», из чего истекло угасание духа; и не только это, но и заблуждения в сфере эмпирической науки: допуская понятия хозяйства и государства в сферу «вышнего» мира, они вносили в экономическое знание, в государство и правоведение элемент разрешения основных, «конечных», вопросов существования, вопросов, неразрешимых иначе как на путях метафизики; однако же деятели «науки» — они желали и здесь усмотреть эмпирические «причины». Тем создавалось причудливейшее смешение эмпирики и метафизики, подлинное *извращение науки* как учения эмпирического. Только признанием ограниченности круга воздействия экономических и политических причин, отказом от разрешения в них «конечных» вопросов существования утверждается возможность последовательно-эмпирического хозяйственного и политического знания. Только изгнанием экономики и политики, торгующих во храме, больно бьющим бичом из мира «вышних» создается простор для «благой метафизики». «Благая метафизика» — это сфера, где находятся в установленном равновесии миры «вышних» и «нижних», религиозно-философской ценности и экономического, и политического действия, где хозяйство и право утверждены во всей широте жизненного значения, но где в отношении к ценностям «конечным» и «вышним» хозяйство и право суть ценности «подчиненные». «Благая метафизика» — это область, где царствует мера, столь чудесно и вдохновенно

преисполняющая относящиеся к «вышним» и «нижним» — откровения, учения Евангелия.

2. Философия «подчиненной экономики» и «подчиненного права» предполагает признание, что исключительно в области религиозной может быть разрешена — поскольку она вообще разрешима! — проблема человеческого «счастья». Благополучие хозяйственное и государственное есть не более как *условие*, само по себе бессильное разрешить проблему.

Воспринимая воззрения «благой метафизики» или — что то же — проникаясь взглядами «подчиненной экономики» и «подчиненного права», мы поставляем себя в традицию русского религиозного творчества: действие в хозяйстве и государстве разрешается и освещается озарением религиозным. Религия, призванная в живом единстве питать, преисполняя смыслом, совокупность социального бытия, не может быть мертвенной схемой, вынуждаемой Разумом формулой Богопризнания. Религия есть *исповедание догматов*; она исполнена чувством их значительности и смысла; она — живое чутье Богооткровения, выделяющее главное от не главного, но твердо держащее *все*. Религия — это трепет, трепет души перед Господом, трепет почитания перед Символом, Таинством, даже знаком имени Христа. Религия — единство, сопрягающее живых и мертвых, прошлое, настоящее и будущее. В свете религии познается национальность; в нем «святая Русь» ощущается как «предыстория»; религиозное брение XIX века — как начало, осуществляемое во времени трудном; и познается, что напряжением и верою *большее* дано свершить впереди...

1922 г.

